

Chapter 1

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since.

“Whenever you feel like criticizing any one,” he told me, “just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.”

He didn't say any more, but we've always been unusually communicative in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than that. In consequence, I'm inclined to reserve all judgments, a habit that has opened up many curious natures to me and also made me the victim of not a few veteran bores. The abnormal mind is quick to detect and attach itself to this quality when it appears in a normal person, and so it came about that in college I was unjustly accused of being a politician, because I was privy to the secret grief's of wild, unknown men. Most of the confidences were unsought — frequently I have feigned sleep, preoccupation, or a hostile levity when I realized by some unmistakable sign that an intimate revelation was quivering on the horizon; for

Глава 1

В пору моей впечатлительной юности отец дал мне совет, который с того времени нейдет у меня из головы.

«Всякий раз, как у тебя возникнет желание осудить кого-то, — сказал он, — вспоминай, что не все люди получили на этом свете блага, которые выпали на твою долю».

Вот и все, что он мне сказал, впрочем, разговоры наши всегда отличались редкостным немногословьем, и потому я понял: отец подразумевал нечто большее. В результате я приобрел склонность воздерживаться от любых суждений — привычка, благодаря которой мне раскрывало души немалое число интересных людей, хоть она же и обращала меня в жертву закоренелым занудам. Владелец не вполне нормального разума умеет быстро обнаруживать такую склонность в человеке нормальном и вцепляться в него мертвой хваткой, отчего и получилось, что в колледже меня несправедливо считали тонким интриганом, поскольку люди никому не любопытные, дичившиеся всех прочих, посвящали меня в свои горестные тайны. По большей части я

the intimate revelations of young men, or at least the terms in which they express them, are usually plagiaristic and marred by obvious suppressions. Reserving judgments is a matter of infinite hope. I am still a little afraid of missing something if I forget that, as my father snobbishly suggested, and I snobbishly repeat, a sense of the fundamental decencies is parceled out unequally at birth.

And, after boasting this way of my tolerance, I come to the admission that it has a limit. Conduct may be founded on the hard rock or the wet marshes, but after a certain point I don't care what it's founded on. When I came back from the East last autumn I felt that I wanted the world to be in uniform and at a sort of moral attention forever; I wanted no more riotous excursions with privileged glimpses into the human heart. Only Gatsby, the man who gives his name to this book, was exempt from my reaction — Gatsby, who represented everything for which I have an unaffected scorn. If personality is an unbroken series of successful gestures, then there was something gorgeous about him; some heightened sensitivity to the promises of life, as if he were related to one of those intricate machines that register earth-

их откровений отнюдь не искал и нередко, едва поняв по некоторым безошибочно узнаваемым признакам, что на горизонте замаячила интимная исповедь, изображал сонливость, великую занятость или неприязненную легковесность; ведь интимные исповеди молодых мужчин или, по крайней мере, выражения, в которые они облакаются, как правило, отдают плагиатом либо основательно замутняясь очевидными недомолвками. Воздерживаться от суждений — значит питать неутолимую надежду. Я и поныне боюсь упустить что-нибудь важное, если вдруг забуду то, что не без тщеславия утверждал мой отец и не без тщеславия повторяю я: что краеугольное качество добропорядочности распределяется между нами, рождающимися на свет, не поровну.

Ну вот, побахвалившись подобным образом присущей мне терпимостью, я готов признать, что и ей положены определенные пределы. Поведение человека может иметь фундаментом крепкую скальную породу, а может и болотную топь, однако по пересечении определенной черты я перестаю интересоваться тем, что лежит в его основе. Вернувшись прошлой осенью с востока страны, я томился жаждой единообразия мира: желал, чтобы он, когда дело идет о нравственности, застывал по стойке «смирно», а сумбурные экскурсии с правом осмотра тайников человеческих душ более не привлекали меня. Исключением стал лишь Гэтсби, тот, именем коего названа эта книга, — Гэтсби, олицетворявший все, к чему я питал безучастное презрение. Если личность можно оценивать по не-

quakes ten thousand miles away. This responsiveness had nothing to do with that flabby impressionability which is dignified under the name of the “creative temperament”—it was an extraordinary gift for hope, a romantic readiness such as I have never found in any other person and which it is not likely I shall ever find again. No — Gatsby turned out all right at the end; it is what preyed on Gatsby, what foul dust floated in the wake of his dreams that temporarily closed out my interest in the abortive sorrows and short-winded elations of men.

My family has been prominent, well-to-do people in this Middle Western city for three generations. The Carraways are something of a clan, and we have a tradition that we’re descended from the Dukes of Buccleuch, but the actual founder of my line was my grandfather’s brother, who came here in fifty-one, sent a substitute to the Civil War, and started the wholesale hardware business that my father carries on today.

I never saw this great-uncle, but I’m supposed to look like him — with special reference to the rather hardboiled painting that hangs in father’s office. I graduated from New Haven in 1915, just

прерывной чередой удачных жестов, то в нем действительно присутствовало нечто блестящее, обостренная восприимчивость к посулам жизни; он был подобен сложному прибору, который слышит землетрясения, происходящие в десяти тысячах миль от него. Эта отзывчивость не имела ничего общего с вялой впечатлительностью, которая носит благородное прозвание «творческая натура», — она была поразительным даром надежды, романтической готовности ко всему на свете, даром, какого я не встречал больше ни в ком и какой навряд ли увижу снова. Нет, в конечном счете, Гэтсби оказался человеком замечательным — это те, кто жил за его счет, та грязная пыль, что вилась по пятам за его мечтаниями, — она заставила меня на время утратить интерес к бесплодным печалям и взлетам наделенных куцыми крыльями людей.

Происхожу я из видной, состоятельной семьи, три поколения которой жили в родном моем городе на Среднем Западе. Каррауэи — это подобие клана; согласно преданию, мы ведем свой род от герцогов Баклю, хотя непосредственным основателем нашей линии был брат моего деда, перебравшийся сюда в пятьдесят первом, отправивший кого-то взамен себя на Гражданскую войну и основавший оптовую торговлю скобяным товаром, возглавляемую ныне моим отцом.

Двоюродного дедушку мне видеть не довелось; предполагается, однако ж, что я похож на него, — доказательством служит довольно топорной работы портрет его, висящий в кабинете отца. Учебу

a quarter of a century after my father, and a little later I participated in that delayed Teutonic migration known as the Great War. I enjoyed the counter-raid so thoroughly that I came back restless. Instead of being the warm center of the world, the Middle West now seemed like the ragged edge of the universe — so I decided to go East and learn the bond business. Everybody I knew was in the bond business, so I supposed it could support one more single man. All my aunts and uncles talked it over as if they were choosing a prep school for me, and finally said, “Why — ye-es,” with very grave, hesitant faces. Father agreed to finance me for a year, and after various delays I came East, permanently, I thought, in the spring of twenty-two.

The practical thing was to find rooms in the city, but it was a warm season, and I had just left a country of wide lawns and friendly trees, so when a young man at the office suggested that we take a house together in a commuting town, it sounded like a great idea. He found the house, a weather-beaten cardboard bungalow at eighty a month, but at the last minute the firm ordered him to Washington, and I went out to the country alone. I had a dog — at least I had him for a few days until he ran away — and an old Dodge

в Нью-Хейвене я закончил в 1915 году, ровно через четверть века после отца, и несколько позже принял участие в той запоздалой миграции тевтонского племени, что получила название Мировой войны. Наш контрудар доставил мне удовольствие столь большое, что, и вернувшись домой, я все никак не мог успокоиться. Средний Запад представлялся мне теперь не уютным центром вселенной, но ее неказистой окраиной — и потому я надумал поехать на Восток, дабы изучить тонкости обращения с долговыми обязательствами. Каждый, кого я знал, занимался долговыми обязательствами, вот я и решил, что этот бизнес в состоянии прокормить еще одного холостяка. Тетушки мои и дядюшки обсуждали сей замысел с таким усердием, точно дело шло о выборе для меня частной школы, и наконец постановили: «Ну, что же, д-да», сохраняя, впрочем, на лицах мрачное, неуверенное выражение. Отец согласился в течение года выплачивать мне содержание, и весной двадцать второго я отправился на Восток — навсегда, как я полагал.

Разумнее всего было подыскать жилище в городе, однако время стояло теплое, а я только что покинул край просторных лужаек и приветливых деревьев, поэтому, когда работавший в одном со мной офисе молодой человек предложил снять с ним на пару дом в пригороде, я счел эту мысль превосходной. Он подыскал выдавшее виды шаткое бунгало, сдававшееся за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма отослала его в Вашингтон, и пришлось мне отправиться за город одному.

and a Finnish woman, who made my bed and cooked breakfast and muttered Finnish wisdom to herself over the electric stove.

It was lonely for a day or so until one morning some man, more recently arrived than I, stopped me on the road.

“How do you get to West Egg village?” he asked helplessly.

I told him. And as I walked on I was lonely no longer. I was a guide, a pathfinder, an original settler. He had casually conferred on me the freedom of the neighborhood.

And so with the sunshine and the great bursts of leaves growing on the trees, just as things grow in fast movies, I had that familiar conviction that life was beginning over again with the summer.

There was so much to read, for one thing, and so much fine health to be pulled down out of the young breath-giving air. I bought a dozen volumes on banking and credit and investment securities, and they stood on my shelf in red and gold like new money from the mint, promising to unfold the shining secrets that only Midas and Morgan and Maecenas knew. And I had the high intention of reading many other books besides. I was rather literary in college — one year I wrote a series of very solemn and obvious editorials for the Yale News — and now I was going to bring

У меня была собака — во всяком случае, пробыла несколько дней, пока не сбежала, — старенький «Додж» и финских кровей служанка, которая стелила мою постель, готовила завтрак и вполголоса делилась сама с собой, стоя у электрической плитки, перлами финской мудрости.

День-другой мне было одиноко, но затем поутру меня остановил на дороге человек, приехавший туда позже меня.

— Не скажете, как попасть на Западное Яйцо? — сокрушенно осведомился он.

Я объяснил. И продолжил свой путь, уже не терзаясь одиночеством: я обратился в проводника, следопыта, первого поселенца. Сам того не заметив, человек этот даровал всему, что меня здесь окружало, свободу.

В то утро, под солнцем и трепетом листвы, которая словно рвалась из древесных ветвей, как при замедленной киносъемке, ко мне вернулась привычная уверенность: с летом жизнь начинается заново.

Мне предстояло, прежде всего, столь многое прочитать, впитать столько здоровья из молодого воздуха, которым так привольно дышалось. Я купил десяток томов по банковскому и кредитному делу, по ценным бумагам, и они выстроились на полке, красные с золотом, похожие на только что отчеканенные монеты, обещающая открыть ослепительные тайны, ведомые лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Впрочем, я имел возвышенное намерение прочесть и множество иных книг. В колледже я питал склонность к литературе — в один год написал даже

back all such things into my life and become again that most limited of all specialists, the “well-rounded man.” This isn’t just an epigram — life is much more successfully looked at from a single window, after all.

It was a matter of chance that I should have rented a house in one of the strangest communities in North America. It was on that slender riotous island which extends itself due east of New York — and where there are, among other natural curiosities, two unusual formations of land. Twenty miles from the city a pair of enormous eggs, identical in contour and separated only by a courtesy bay, jut out into the most domesticated body of salt water in the Western hemisphere, the great wet barnyard of Long Island Sound. They are not perfect ovals — like the egg in the Columbus story, they are both crushed flat at the contact end — but their physical resemblance must be a source of perpetual confusion to the gulls that fly overhead. To the wingless a more arresting phenomenon is their dissimilarity in every particular except shape and size.

I lived at West Egg, the — well, the less fashionable of the two, though this is a most superficial tag to express the bizarre and not a little sinister contrast between them. My house was at the very tip of the egg, only fifty yards from the Sound, and squeezed

для «Йель-Ньюс» несколько весьма напыщенных и тривиальных передовых статей, — и теперь соби-рался обновить эту сторону моей жизни, снова стать самым узким из всех специалистов — «широко обра-зованным человеком». И это не праздная ирония — в конце концов, жизнь удобнее всего созерцать, имея в своем распоряжении только одно оконце.

Случай распорядился так, что дом я снял в од-ном из самых удивительных поселений Северной Америки. Оно находится на длинном, бестолковом острове, что тянется от Нью-Йорка прямо на вос-ток, — здесь среди прочих причуд природы имеется два необычных геологических курьеза. В двадцати милях от города во влажное задворье Нью-Йорка, именуемое проливом Лонг-Айленд — а это самое обжитое в Западном полушарии морское простран-ство, — вдается пара огромных, одинаковых по очертаниям «яиц», разделенных бухтой, каковую местные жители с учтивой снисходительностью именуют «заливом». Подобно колумбовым, совер-шенной овальностью эти «яйца» не отличаются, оба слегка приплюснуты со стороны «залива», однако физическое подобие их наверняка сбивает с толку парящих над ними чаек. Бескрылых же существ куда сильнее завораживает их несходство во всем, кроме формы и размера.

Я жил на Западном Яйце, бывшем, как бы это ска-зать... менее фешенебельным, чем Восточное, хотя это поверхностное слово едва ли передает странный и не в малой мере зловещий контраст двух остро-вов. Дом мой стоял на самой оконечности «яйца»,